

цам, например Листу. При жизни своей Мих. Иванович никому своих больших оркестровых сочинений не посвящал, а поэтому не следовало бы и распоряжаться волей Михаила Ивановича. Кстати, Юлия Дмитриевна не удовлетворяется большинством биографий Михаила Ивановича. Она находит в них и много прикрас и вещей, далеко не соответствующих беспристрастной правде. Впрочем, закончила наше свидание племянница Глинки, про Мих. Ивановича еще многое неизвестно миру, и так, вероятно, будет продолжаться долго, пока, по крайней мере, род Глинок не будет делать секрета про всю жизнь своего гениального союда, не скрывая ничего из его жизни. Так следовало бы, говорила Юлия Дмитриевна поступить потому, что Михаил Иванович не принадлежит давно уже ни родственникам его, ни знавшим его, — он и все о нем давно уже сделались достоянием всего русского народа, всего мира. В заключение она сказала, что близ Починок, где она проживает, есть имение г-жи Мантицкой, прадед которой, А. И. Киприянов, был большим любителем науки, участвовал в Отечественной войне 1812 года, превосходно знал все детство и юность Мих. Ивановича, описал их до мельчайших подробностей. В этих воспоминаниях, по ее словам, много заключается того, что неизвестно биографам. Предстоящим летом внук Глинки, Н. Д. Бер, непременно хочет достать эти воспоминания и обнародовать их¹. На все это только можно сказать — помогай бог! Широкая гласность, беспристрастие — друзья истины.

На этом и кончилась наша беседа с Юлией Дмитриевной Бер².

Л. И. ШЕСТАКОВА

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ И КОНЧИНА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ГЛИНКИ

Брат окончил свои Записки 1854 г. приездом своим в Царское, а умер он в 1857. Я хочу, насколько память моя и письма брата позволяют, пополнить этот пробел и сообщить о нем всё, что я знаю, не только как о композиторе, но и как о человеке.

Дача наша была в Царском селе на Грязной в доме Мейера — очень удобная, с хорошим балконом и небольшим садиком; оба парка были очень близко от нас. Вообще жилось хорошо; брат был здоров, доволен. Обыкновенно день его был расположен следующим образом: вставал он довольно рано и списывал мелким шрифтом целый лист своих Записок; часов в 10 приходил к чаю (он обыкновенно пил жидкий чай с миндальным молоком) и прочитывал мне написанное им в то утро; поговоря немного, мы уходили на балкон. Иногда он писал что-нибудь (все лето он решительно ничего не сочинял, но наоркестровал несколько пьес¹), а чаще читал один, или я ему читала громко. Для отдыха он валялся или занимался с девочкою моею, его крестницею (которую он очень любил), на ковре, разостланном тут же на балконе, и когда бывало принесут им еще котенка, то он оставался очень доволен. В 1-м часу мы завтракали, потом обыкновенно приезжали знакомые из Петербурга; вечером ходили гулять в один из парков или в оранжереи, которые тоже были недалеко от нас.

К. П. Дубровский и т. П. Гвидин с женою. Василий Павлович Энгельгардт чрезвычайно любил брата, постоянно доставлял ему всевозможные музыкальные наслаждения, даже в Царском устроил музыкальный квартетный вечер с Пиккелем и другими; между прочими вещами исполняли одно из юношеских произведений брата, и брат не узнал своего квартета². Помню, как будто бы теперь вижу, довольное лицо брата, когда он слушал прелестное исполнение артистов. Он глубоко ценил расположение к нему Энгельгардта, да и понятно: с его душой не дорожить такою постоянною привязанностью было невозможно. Иван Алексеевич Шестаков и Александр Николаевич Серов гащивали у нас. Первый был родственник моего покойного мужа, человек серьезно образованный; мы его любили, и он, как казалось тогда, был хорошо расположен к нам. Второй же, А. Н. Серов, присутствие которого доставляло брату и мне большое удовольствие, был тогда веселый молодой человек, знавший превосходно музыку, с большими литературными познаниями, постоянно в хорошем настроении, остроумию его не было конца. Часто у него с братом шли толки о музыке и продолжительные; тогда, насколько я помню, Александр Николаевич любил «Руслана»; не раз слышала я, как он исчислял красоты этой оперы самому брату. Еще из посетителей был П. П. Дубровский, профессор польского языка, академик; он был переведен из Варшавы, где имел случай оказать брату несколько услуг. Брат никогда не забывал малейшее добро, сделанное ему; к тому же Дубровский был человек чрезвычайно добрый, но имел такую страсть спорить, что иногда выводил брата из терпения. Помню, однажды страсть Дубровского была в полном разгаре; брат долго слушал его, потом, не отвечая ему, подошел к портрету покойного государя императора Николая Павловича, стал перед ним на колени, с словами: «Ваше императорское величество! уничтожили вы виленский университет, уничтожьте и московский (Дубровский воспитывался в московском университете), чтобы подобных сему господину меньше было на свете». Конечно, эту выходку сопровождал взрыв смеха лиц действующих и присутствующих; этим и кончился на этот раз спор.

Так шло время до августа; мы никуда не ездили — брат не любил; один раз всего были в Павловске на музыке, и то по моему желанию. В начале августа Энгельгардт уехал за границу; я заметила, что отъезд его грустно отозвался на брате; к тому же приближалась осень; время начиналось холодное, дождливое, ночи темные, — все это вместе довело до того, что брат начал спешить переездом в город. Квартира была уже отыскана и нанята мною в Эртелевом переулке, в доме Томиловой, и 26 августа мы переехали в Петербург. Странно из Царского переехать в августе месяце, тогда как там осень так хороша, но брат находил, что холодно, а мне кажется, он спешил переехать потому, что начались уже вечера, а посетителей по случаю дурной погоды было меньше, и он скучал.

Итак, 26 августа 1854 г. мы перебрались в Петербург; квартира наша была хорошая, а зал для музыки чрезвычайно обширный и с хорошим резонансом. Скоро по переезде в город девочка моя занемогла опасно; брат прервал все свои занятия и совершенно посвятил себя заботам о нас. Надо было видеть, с каким горячим участием он помогал мне ухаживать за девочкою и берег меня, он иногда ночами приходил сидеть со мною, ходил чуть слышно и на это время совершенно отказывал себе

ский» для коронации императора Александра II, который, по приказанию императора, и игрался. Помню, что в продолжение этой зимы, с 1854 на 1855 г., брат выезжал очень мало. Он вообще был домоседом, занимался и проводил свой день попрежнему, с тою разницею, что у нас собиралось очень много и часто пели, играли; иногда игра доходила до 12-ти рук. В это время бывали у нас: П. А. Бартенева, М. В. Шилова, А. Я. Билибина и много других. А. С. Даргомыжский бывал у брата довольно часто, и обыкновенно брат бывал ему очень рад, но не обходилось дело без разных выходок со стороны брата. В то время Даргомыжский писал свою «Русалку» и приносил брату прослушать написанное. Брат восхищался многим в этой опере, но когда Даргомыжский пропел ему арию княгини в 3-м акте «Дней минувших наслажденья», брат сказал: «Это что-то очень смахивает на арию Гориславы из «Руслана» в 3-м акте», Даргомыжский не захотел, верно, спорить с братом и отшутился очень мило: «Э, брат, сказал он, тебя все чужие обкрадывают, отчего же своему не пощипать немножко?»

В другой раз, когда А. С. был не в духе, то на замечание брата, что один из мотивов «Русалки» отзывается другим сочинителем, Даргомыжский с сердцем отвечал: «Это ты воображаешь или просто выдумываешь». Тогда же брат уговаривал Даргомыжского, конча эту оперу, непременно начать комическую, говоря, что он заранее уверен, что это выйдет *chef d'oeuvre*. Но странно, Даргомыжский всегда как будто обижался этим и даже один раз сказал ему: «Неужели ты думаешь, что я, кроме комических вещей, ничего не могу сделать?» Брат говорил ему, что, конечно, он сам видит и знает, что в «Русалке» и не комические вещи превосходны, но что, по его мнению, написать комическую оперу несколько не легче, и что для этого нужен особенный талант, который он и встретил только в нем одном.

Помню еще одну сцену брата с Даргомыжским. Брат любил советовать писать другим, но когда уговаривали писать его самого, он обыкновенно, ежели бывал в дурном настроении, оставался очень недоволен и сердился; если же бывал в духе, то обращал эти уговоры в смешную сторону. Так однажды, когда Даргомыжский начал говорить ему, что стыдно ему с таким талантом не сочинять, брат, вместо ответа, запел ему его романс «Каюсь, дядя, чорт попутал», и его же пискливым дискантом; в первую минуту А. С. был поражен, но продолжал свои увещевания; чем более А. С. уговаривал брата, тем тот сильнее старался выпискивать «Дядю», и кончилось тем, что А. С. сказал: «Какой ты брат, школьник!» и заговорили о другом.

В эту зиму брат бывал у князя Одоевского и Волконского на музыкальных вечерах и был очень доволен, слыша там хорошую музыку и превосходное исполнение. Еще он бывал у Ломакина, слушал певчих Шереметева, исполнявших пьесы древних итальянских и немецких сочинителей.

Брат всегда сильно любил музыку Бетховена, Баха, Генделя, но в эту эпоху более всего восхищался Глюком. Он не раз рассказывал мне о восторге, доведшем его до слез, когда, проездом чрез Берлин, он слышал на сцене «Армиду» Глюка, наигрывал мне места, которые более подействовали на него, и можно сказать, упивался этою музыкою.

В эту же зиму я упросила его быть со мною в театре, и мы были

После первых представлений в 1836 г. он не видал свою старуху, как он называл «Жизнь за царя», и в 19 лет не было подновлено ничего; те же самые костюмы, те же декорации, и польский бал освещался 4-мя свечами; брат на это заметил мне, что скоро будут освещать его двумя сальными огарками. Но что выделял оркестр, какие брались темпы, ужас! Я понимаю, какая была большая жертва со стороны брата для меня, что он немедленно не оставил театр. Но он восхищался Петровым, и тут же в роли Вани он заметил голос Леоновой (впоследствии она сделалась его ученицей). В один из антрактов вошел к нам в ложу князь Одоевский и шепнул мне, что брата хотят вызывать, и шепнул так громко, что брат, услышав это, встал с своего места и вышел из ложи, сказав мне: «Подъезжай, пожалуйста, к квартире директора и пришли за мной человека». Останавливать брата не было никакой возможности, я знала хорошо его характер. Точно, его вызывали, но тут же со сцены было объявлено, что он уехал. Более я его никогда не звала в театр и ужасно досадовала на себя, что и этот раз попросила его быть со мною в «Жизни за царя», потому что он на другой же день занемог сильным расстройством нерв. Гейденрейх (как доктор его и друг, человек истинно любивший брата, и по сие время сохранивший дружеские отношения со мною) знал хорошо его мягкую натуру и, с свойственной самому деликатностью, успокоил его нервы; недели через две он оправился³.

Вскоре после этого, Дар. Мих. Леонова приехала к нам, и брат начал заниматься пением с нею; голос ее ему нравился, и он начал инструментовать разные романсы и пр. для ее предполагаемого концерта⁴. Как теперь вижу его сидящим в зале, в своем любимом халате (надо заметить, что брат всегда носил зимою халаты на заячьем меху, подбитые шелковою материею), близ стола и усердно выписывающим партитуру... Вдруг вбегает неожиданно Оля, прямо к брату: «Мися, игляй» (надо заметить, что брат не позволял моей девочке звать его дядею, а хотел, чтобы она звала его Миша; так и было, конечно). брат с улыбкой, доброй, хорошей улыбкой оставлял работу и садился играть; потом девочка затевала петь, и брат учил ее «Ходит ветер у ворот» и радовался, когда она брала верные ноты. Иногда он сам танцевал с нею, а иногда, чтобы посмешить Олю, танцевал мазурку с 60-летней старухой (нянею моей девочки).

В этом 1855 г. великим постом брат хотел слышать сочиненную им перед этим церковную музыку: эктении на обедни в гри голоса и «Да исправится». Чрез князя Волконского устроилось так, что архимандрит Сергиевой пустыни был сам у нас и пригласил брата и меня приехать в назначенный им день в пустынь; брат был не очень здоров и ехать не мог, но отправил меня одну. С этого времени брат начал подумывать серьезно о церковной музыке и начал понемногу заниматься церковными тонами⁵.

Но вскоре музыка другого рода отвлекла его от этих занятий; ему вдруг пришла мысль написать еще небольшую оперу «Двумужница», и он все острил, что ему очень идет писать эту оперу, потому что его жена была двумужница (она вышла замуж за Васильчикова, что было доказано). Начались хлопоты, толки о новой опере. Приблизительно

* «Севильский цирюльник», опера Россини.

торм году писал он каждый романс, но кому они были подарены или проданы, не помнил. Об иных из них надо было писать к разным лицам, не только в Петербурге, но даже во внутрь России и за границу, спрашивая, где можно отыскать; других же совсем не оказалось, и он написал их сызнова. Когда же, наконец, все было отыскано, и я привезла ему их, распределяя по годам, брат вздумал пересмотреть их, и ему попался дуэт, переложенный из баркаролы «Уснули голубые сегодня, как вчера». Переложение было ужасное, и тут же было напечатано, что переложено Глинкою. Брат вышел из себя и, взяв этот дуэт, поехал жаловаться, но приехав к квартире Дубельта, заметил, что свертка уже не было; верно, садясь в экипаж, он выронил его из рук, потому что из кареты сверток не мог же выпасть. Брат вернулся домой раздосадованный, но более не жаловался, а только сделал выговор фабриканту этой музыки, потому что эта переделка оказалась его работой⁶.

Скажу здесь несколько слов о характере брата. У брата была наивно детская, мягкая, деликатная натура, и ничто не могло поколебать ее, ни семейные дразги, ни кружки, в которые судьба забрасывала его; равно ничто не могло повредить его таланту; доказательством тому служат его последние произведения: «Руслан», «Камаринская» и две «Испанских увертюры». Брат никогда не мог писать по заказу; он писал только тогда, когда что-нибудь сильно, приятно действовало на него, будь это женщина, природа, климат, превосходное произведение искусства; тогда он вдохновлялся. Но что в России ему было труднее писать чем где-нибудь, это очень понятно: климатом и природой он восхищаться, конечно, не мог, а полное пренебрежение к его таланту со стороны русского общества парализовало в нем всякое вдохновение. Что бы написал брат, ежели бы жил теперь, когда так горячо относится большая часть публики к его произведениям!

Он не был рассеян, но неуменье вести дела было вообще сильно в нем: он не любил никаких дел и хозяйственных дразг. Но что в нем было развито до невероятных размеров, это мнительность,— он так боялся смерти, что до смешного ограждал себя от всяких малостей, которые, по его мнению, могли влиять на его здоровье. Он был иногда нездоров, как и все бывают, но он себя считал всегда больным и даже часто близким к смерти, и потому иногда выходили презабавные шутки. Так, например, в этом же 1855 г., в первый день праздника пасхи, утром вошел он в мою комнату бледный и чуть слышным голосом сказал: «Мне худо», и на вопрос мой, что с ним? он показал мне, что на щеке у него показалась кровь. «Видишь, кровь уже выходит», сказал он. Я, зная, что он постоянно сам бреется, поняла, что он верно порезал себя немного, и сообщила ему мое предположение. Он успокоился и даже повеселел, и мы пошли с ним поздравить нашу добрую хозяйку, старуху Томилову, с праздником (она жила в том же доме и очень была внимательна к нам). Поздоровавшись с нею, я оглянулась, чтобы уступить место брату, но его уже не было в комнате. Я поняла в чем дело,— у хозяйки на столе лежала суконная салфетка, пропитанная камфорой и перцем. Пробыв несколько минут, я ушла, сказав, что верно брату сделалось дурно. Возвратясь к себе, я нашла уже брата в другом платье, а то, в котором он ходил к Томиловой, было приказано выбросить из дому: по словам брата, в нем была отравка от камфоры. Дело в том, что он сам постоянно лечился гомеопатией, у него была маленькая аптечка, и потому он ника-

лавровый лист или перец, то и приправит их куском... кушает на здоровье. Помню, раз был он в хорошем настроении и, заметя лавровый лист в супе, сказал мне: «Не люблю я лавров ни на голове, ни в супе»... Я боялась, что посещение Томиловой не пройдет даром, что он вообразит себя больным, но в этот день было у нас много посетителей, он рассеялся, и дело о салфетке прошло без последствий.

Прошли праздники, канва для оперы была уже готова, отыскав либреттиста, некто Василько-Петров, довольно неважный литератор и преподаватель декламации в Театральной школе. Много, очень много мотивов были у брата уже готовы, другие вырабатывались, одним словом, все шло как нельзя лучше. В половине мая я должна была уехать по делам в деревню. Брат оставался в Петербурге. Я простилась с ним в то время, когда он был совершенно здоров, весел и доволен. Он с удовольствием занимался пением с Леонозой, принялся соображать оперу горячо и с любовью. В одной из комнат он сделал решетку у окна и завел более 12 птиц (которых он страстно любил); при нем остались верные, хорошие люди: повар, человек и женщина, на которую я возложила всю хозяйственную часть, чтобы ничем не беспокоить брата, и уезжала совершенно покойная, зная, что Гейденрейх и другие знакомые будут навещать его и беречь. Для него уход был необходим; он так привык к этому с самого детства, что уже это превратилось у него не в привычку, но в необходимость. В деревню брат писал мне, как обыкновенно, раз в неделю. Описывал, что делал в прошлую неделю и что намерен был делать в будущую. Некоторые выписки из этих писем находятся в стаге В. В. Стасова под заглавием: «М. И. Глинка», и потому я скажу о них вкратце. В июне письма его были хорошие, веселые, довольные; в июле он начал жаловаться на жары, на В. В. Стасова, который настойчиво требует, чтобы брат сочинял, тогда как он этого не может; потом на либреттиста; в конце июля он уже жаловался на все и всех, а в начале августа я получила от него письмо, в котором он просил меня поспешить приездом, чтобы выпроводить его в Варшаву, потому что он более оставаться в Петербурге не может.

Я, конечно, не заставила брата повторить его просьбу и немедля возвратилась к нему. Он нам очень обрадовался и сказал: «Ты мне сделала сюрприз; я не ждал тебя так скоро». На мой ответ, что я поспешила исполнить его желание и привезла с собою все, что нужно для его отъезда, он сказал мне: «О делах ни слова; три дня ты у меня гостя, а потом поговорим». Но не дождалось мы трех дней, и на другой же день он уже решил, что остается в Петербурге до весны, что «Двумужницы» писать не будет, что она ему опротивела по многому и что либреттист его наддел ему неприятностей (об этом он упоминает в письме к Энгельгардту). Что именно было, не знаю; брат не сообщил мне, сказав, что это меня огорчит.

Тут скоро мы познакомились с Беленицыною, Екатериной Николаевною; старшая дочь ее, Любовь Ивановна (ныне Кармалина), была очень милая, образованная девушка с большим музыкальным талантом, пела превосходно, прямо с листа в одно время музыку, голос и слова, как будто эта вещь была давно ей известна. Брат был в восторге от такого таланта, и она часто пела у нас под аккомпанемент брата. Он в эту зиму выезжал еще меньше; помню, раза два был у князя Одоевского и еще у кого-то на музыкальных вечерах (в театр я ему не предлагала

ной в залу: «...для того, говорил он, чтобы иметь особую квартиру, и чтобы иметь возможность принимать разных лиц, которых при общей квартире неудобно было принимать». Я не противилась, зная хорошо, что при настойчивом характере брата это ни к чему не поведет и он тем более сделает по-своему. Вообще нужно было уступить ему и предоставить самому со временем обдумать и разобрать дело, и тогда он сам убеждался, что ошибся, и поправлял дело, ежели его возможно было поправить. Так случилось и теперь: хотя я вполне сознавала, что это нелепость, но, зная его, уверена была, что это ненадолго; дверь забили, оклеили шпалерами с его стороны и не осталось следа двери; в первые дни брат был доволен, потом начал находить неудобства, и кончилось тем, что чрез две недели пришлось опять отдирать шпалеры и отколачивать дверь, и опять все пошло по-старому.

К празднику я сделала елку своей девочке; на другой день брат вздумал просить меня, чтобы я сделала ему елку. Я думала, что он шутит, но оказалось, что ему на самом деле пришла фантазия, чтобы у него в зале была елка. Он сказал мне: «Это будет моя елка и я приглашу на нее, кого захочу».

Он пригласил на елку к себе семейство Беленицыных, Даргомыжского, его сестру Софью Сергеевну Степанову с мужем⁷ и больше никого. Зажгли елку, и ему вздумалось танцевать мазурку кругом дерева, меня засадили играть мазурку, и начались танцы. Даргомыжский с Люб. Ив. в первой паре, а брат с сестрой ее Софьей Ивановной во второй. Сначала все шло хорошо, выделявали разные фигуры и брат справлялся по своим летам и тучности хорошо, но Даргомыжскому вздумалось подтрунить над братом, и он, быв в первой паре, затеял фигуру, в которой кавалер должен был становиться на колени. Сам он очень легко и ловко сделал ее, но когда дошла очередь до брата, он с трудом стал на колени, но встать решительно не мог; все дамы бросились поднимать его, смех был общий, а Даргомыжский стоял в стороне и злокачественно улыбался; брат в шутку сказал ему: «Ведь ты надо мною съехидничал...» Конечно, мазурка тем и кончилась, и елка с нею. Началась музыка: брат с Даргомыжским играли в 4-ре руки, потом все пели по очереди и вместе; благодаря выдумке брата, все мы провели вечер очень приятно.

В это время приехал к брату Улыбышев с М. А. Балакиревым, и потом последний бывал у нас довольно часто. Брат предсказывал Балакиреву блестящую музыкальную будущность.

Девочка моя стала немного больше, и брат часами занимался с нею. рисовал ей, рассказывал сказочки, иногда играл, пел с нею. Видно было, что она дает ему развлечение, и он вообще детей уже такого возраста очень любил, зато как искренно ненавидел новорожденных и вообще очень маленьких (своих детей у него никогда не было). После праздников он занемог, и до начала апреля не выходил из комнаты; тут-то он сочинил последний романс свой, по неотступной просьбе Павлова, на слова его: «Не говори, что сердцу больно от ран чужих»⁸.

Брата посещали попрежнему; попрежнему же производили разные музыки; кто именно посещал брата, всех не упомяну⁹, но знаю, что в это же время Даргомыжский представил брату В. Н. Кашперова, который был недолгое время в Петербурге. Он приходил к брату спрашивать совета

ковский выхлопал брату казенную карету и почтальбона, контрабасиста до Берлина, чтобы повидаться со своими родными. Начались хлопоты по этому случаю. За день до отъезда пришел В. В. Стасов и сказал мне, что не худо бы снять портрет с брата; потому что в течение 14 лет, с самого 1842 г., когда был сделан литографический портрет, помещенный при «Руслане», мы не имели ни одного портрета брата¹⁰. Я поблагодарила его за эту мысль и попросила предупредить Левицкого, что мы будем завтра в час. Я была уверена, что упрошу брата поехать со мною, и точно брат, хотя не совсем охотно, но согласился; итак, ежели мы имеем хороший портрет брата последних лет его жизни, то этим единственно обязаны В. В. Стасову; у меня столько было забот об отъезде брата, что наверное мне не пришло бы в голову снять портрет его.

Я уверена была, что он поселится в Берлине на долгое время (потому что перемена места для него была неприятна, к тому же по его летам беспокойная жизнь путешественника была не под силу), и мне хотелось, чтобы он, приехав на место, нашел в своих чемоданах все, что он любил и к чему привык, и я только об этом и думала тогда.

Пришло и 27 число, час отъезда был назначен в 12^{1/2}; все собрались к этому времени, карета была уже готова, почтальбон не раз говорил, что пора ехать, а я все упрашивала брата подождать немного, именно потому, что В. В. Стасов не приходил еще, и я знала, что ему было бы очень грустно не проститься с братом (В. В. Стасов имел тогда привычку непременно опаздывать); наконец, пробил час, и брат настоятельно потребовал ехать. Не успели мы подойти к карете, как явился В. В. Стасов, он и я сели с братом в карету и проводили его до заставы. У заставы он вышел из кареты, простился с нами, потом плюнул, сказав: «Когда бы мне никогда более этой гадкой страны не видать».

На возвратном пути мы все говорили о том, как бы сделать, чтобы брат к зиме возвратился в Петербург; я знала, что это невозможно, да даже, бывши свидетельницею всего тяжелого, что брат переиспытал, перестрадал и перечувствовал за эти два года, я бы и не решилась просить его приехать. Он сильно и глубоко чувствовал малейшие неприятности; несчастная семейная жизнь его развила в нем нервную чувствительность до высшей степени; музыка его была ему дорога, и после семейной катастрофы стала еще дороже, а что же он видел в Петербурге? «Жизнь за царя» итальянцы вытеснили с Большого театра на Александринский. Опера эта давалась с полным пренебрежением во всех отношениях, и когда давалась? или в табельные дни! — не по музыке, а по имени оперы¹¹ или когда почему-нибудь нельзя было давать других опер (не разучены были, или кто болен), а для «Жизни за царя» не нужно было даже репетиций! В этом случае она до сих пор служит подставной. Брат не раз говорил мне, что из «Руслана» он может сделать десять таких опер, как «Жизнь за царя», и все дельно понимающие музыку тоже ставят эту оперу несравненно выше «Жизни за царя». Еще он говорил мне: «Поймут твоего Мишу, когда его не будет, а «Руслана» через сто лет», но предсказание его осуществилось раньше этого времени.

И такая опера была совершенно изгнана из репертуара, должно быть за негодностью! Этого мало: иные из приятелей брата позволяли

слыхал ничего такого, что бы могло раздражить его. Хотя я и по отъезде его видала и слышала вещи, которые его огорчили бы, но я не сообщала ему о них.

Иногда он в письмах спрашивал меня, идут ли и как его оперы и проч., но я, не имея сообщить ему ничего приятного, оставляла его вопрос, как будто не заметила его. Надо было видеть и слышать, как шла тогда «Жизнь за царя», чтобы иметь понятие, до чего можно исказить хорошую музыку. Теперь дело другое: благодаря С. А. Гедеонову начали обращать внимание на русскую оперу, и благодаря Э. Ф. Направнику, который сам артист и понимает и любит хорошую музыку, оперы исполняются добросовестно. Тут могу привести я событие, случившееся со мною года три тому назад. В разговоре о музыкальном деле, одно из тогдашних высокопоставленных лиц, имевших влияние на театр, сказало мне: «Нам все равно, кто сочинил, что сочинил; для нас тогда только музыка хороша, когда она приносит доход». Что же и говорить, ежели искусство превращено в товар.

Вспоминаю еще, как однажды во время представления «Руслана» были в моей ложе знакомые и ужасно смеялись при виде костюмов, говоря: что верно из всех кладовых вытащили их для просушки... *.

Брат, по приезде в Берлин, поселился недалеко от Дена. Вскоре приехал туда В. Н. Кашперов с женою и нанял квартиру тоже близко от брата. Скоро по приезде его, я ему писала и просила продолжать «Записки» (копия которых была с ним). Он мне ответил, что записок продолжать он не будет, потому что нечего писать, что, писавши аккуратно раз в неделю, он мне сообщает все, что случается с ним...

В самом деле, он вел жизнь чрезвычайно тихую, покойную и однообразную; часы его были распределены, как и в Петербурге: каждое утро он работал с Деном, или то, что он задавал ему (он хотел непременно пройти весь курс церковных тонов с Деном). У него были две ученицы пения, и он занимался с ними, равно и с женою Кашперова, пением¹²; с самим Кашперовым занимался инструментальной; гулял, бывал в театре, слышал Бетховена, Глюка, и был в восторге от оркестра и хоров, также слышал квартеты, словом недостатка в музыке не было. Но больше всего занимала его работа с Деном: он отдался ей совершенно (и потом написал 2 фуги); радовался очень, что избавлен от посетителей «с каплей яда на языке», как писал и говаривал он. В самом деле, он был очень доволен и покоен в Берлине в продолжение десяти месяцев, которые он прожил там. Иногда он жаловался на погоду, на здоровье, но на людей никогда. Кроме обыкновенных посетителей, Дена, Кашперовых, двух учениц и доктора, его посещал Мейербер, и все русские путешественники, которые проезжали через Берлин. Его предположение было остаться в Берлине до мая 1857 г. (он надеялся к тому времени пройти с Деном все, что ему было нужно); в мае я должна была приехать к нему в Берлин и там уже решить вместе, где поселиться на житье. Предполагалось ехать или в Италию, или в южную Францию, туда, где нет моря (брат моря не любил, думая, что оно ему вредно; равно не любил Швейцарии, говоря, что горный ветер для него невыносим). Но планы наши судьба разрушила.

* Далее густо зачеркнута одна фраза, в которой только можно разобрать: «Теперь у нас иное: Н. А. Лукашевич»...

ный перламутром, с двумя шелковыми платочками. Если получишь, то побереги до дня рождения нашей Оли, а в день самого ее рождения отдай ей, поздравь от меня и скажи, что я ее помню и люблю, и если доживу до ее деток, то и им буду добрый родной. 2) 21/9 января исполнили в Королевском дворце известное трио из «Жизни за царя»: Ах, не мне бедному сиротинушке. Пела партию Петровой по справедливости любимая здешней публикой М-ме Вагнер, она была в ударе и пропела очень, очень удовлетворительно. Оркестром управлял Мейербер, и надо сознаться, что он отличнейший капельмейстер во всех отношениях. Я также был приглашен во дворец, где пробыл более четырех часов. Чтобы понять важность этого события для меня, надобно знать, что это единственный концерт в году, tout en grand gala*: публики было от 500 до 700 особ, все залито золотом и сверкало бриллиантами. Если не ошибаюсь, полагаю, что я первый из русских, достигший подобной чести. Письма Мейербера как доказательство, что я сам не навязывался и статьи журналов доставлю в самом непродолжительном времени. Фуги тоже скоро будут переписаны и высланы.

Умоляю добрых приятелей не сетовать, что не пишу, у меня сильная простуда или грипп, а время мерзкое, просто ничего не видать от тумана и снега.

Прилагаю при сем программу концерта. Усердный поклон всем домашним, целую тебя и Олю.

Твой верный друг и брат *Michel*.

После этого письма я получила от В. Н. Кашперова, написанное по просьбе брата, письмо от 11 февраля/ 30 января с известием, что брат сильно простудился, сильно кашляет, даже до рвоты; что опасного ничего нет, но что брат очень слаб и писать сам не может, но что ему хотелось дать весточку о себе; что он не рассчитывает на скорую поправку, болезнь очень расхотелась, но что они все думают, что брата господь одарил такую сильною натурою, что жизнь возьмет свое.

Потом долго я не имела известий... почему они не присылали телеграмм, не знаю... но уже 12 февраля, по нашему стилю, получено было известие, что брат скончался 3 февраля в 5 часов утра. Даже и о смерти его не уведомили телеграммою, а распорядились сами и похоронили в Берлине.

Первою мыслью моею было не оставить прах брата, дорогой для всех нас, в чужих руках. В этом деле помог мне покойный Иван Матвеевич Толстой; я отнеслась к нему с просьбою, испросить на это позволение государя императора

Позволение превзошло мои ожидания. Государь император не только разрешил это, но милостиво вник в тогдашнее мое положение, и приказал, чтобы все хлопоты по этому делу правительство взяло на себя, а расчет был произведен после.

Все это я считаю величайшею милостию государя императора для себя; брат был погребен и надо было вырывать его; по именному повелению, это делалось как следует без препятствий; но иначе не знаю, было ли бы мне возможно перевезти его.— Немедленно после смерти

* совершенное великолепие (франц.)

добросовестный доктор, медицинский советник Буссе, к которому Глинка имел большое доверие, ничего не опускал из внимания, и так как он не поддавался замечаниям и суждениям самого Глинки, то скоро нашел средства восстановить его, так что почти через восемь дней Глинка мог уже приступить к ревностным занятиям фугами, что ему доставляло особенное удовольствие. Отнюдь не стесняя его, я снова начал мои прежние с ним занятия, употребляя ежедневно от двух до трех часов, частью на упражнения, частью на чтение о церковных тонах, которые я ему изъяснял по книге Царлино *Instituzioni harmoniche*. Год таким образом почти кончился, и Глинка успел сочинить 2 фуги и начал приобретать критический взгляд на *Clavecin bien tempéré* С. Баха. Это его очень радовало. Большое удовольствие доставило ему и то обстоятельство, что, по старанию Мейербера. е. в. король приказал исполнить в большом придворном концерте, который бывает только однажды в год, сцену с виолончелью из большой глинкиной оперы. Это прекрасно задуманная и мастерски сочиненная сцена была принята высокою публикою (собравшеюся в числе около 800 персон), со всеобщим сочувствием, и быть может даже и теперь, по смерти композитора, вызовет постановку всей его оперы. При выходе из жарких комнат королевского замка, в которых Глинка очень страдал от жары, он очень простудился и уже ранним утром на следующий день позвал меня к себе, чтобы жаловаться на свое состояние. По дороге я зашел к доктору и попросил его прийти к Глинке, но объяснить свое посещение так, как будто он зашел, проходя мимо, или затем, чтобы осведомиться об успехе вчерашнего концерта. Доктор тотчас же признал сильную простудную лихорадку и предписал горячую ванну. Теплая ванна вызвала обильный пот, и Глинка тотчас же почувствовал себя хорошо, и только страдал от необыкновенно сильного насморка; через несколько дней мы уже сидели с ним за письменным столом или за фортепьяно, продолжая наши занятия фугами. Около этого времени он, должно быть, получил, откуда не знаю, какие-нибудь неприятные известия, потому что он сделался раздражителен, и я нередко приходил к нему по 4 и по 5 раз в день, чтобы его развлечь, так что я больше проводил время у него, чем у себя дома. Он все собирався сообщить мне что-то важное, но все отговаривался в таких выражениях: «*pour communiquer cette affaire, elle n'est pas encore assez mûre; donc plus tard, peut-être en quelques jours*» **. Хотя я ясно видел, что у него что-то лежит на сердце, но остался настолько скромным, что не надоедал ему расспросами. В телесном его состоянии я не замечал ничего опасного, потому что я находил его всегда готовым к работе и научным разговорам, лишь только мне удавалось анекдотами и т. п. разогнать его хандру (*mürrische Laune*). Между тем, я не оставлял просить врача обращать внимание на состояние Глинки и вообще тщательно за ним наблюдать. Так прошла первая половина января, и в это время произошло только то, что я выдавал Глинке неоднократно большие суммы денег, которые он, по его словам, отсылал ***. Куда отсылал он эти

* начало фразы густо вымарано; поддается прочтению только первое слово: «При....»

** Чтобы сообщить об этом деле, оно еще недостаточно зрело; но позже, может быть, через несколько дней (*франц.*)

*** У Дена находились на сохранении все деньги брата.— *Примечание Л. И. Шестаковой.*

тер- лось занимать его по несколько часов ежедневно; наконец, он объявил мне, что не может быть покоен до тех пор, пока я не отпущу лакея, что он имеет свои причины, по которым он им недоволен; при этом впал в гнев и даже ярость. Чтобы не увеличить этого возбужденного настроения, я тотчас же отпустил его человека, и когда я снова вошел в его комнату с этим известием, он сделался кроток, любезен и стал дурачиться с самым прекраснейшим настроением духа. До поздней ночи проговорили мы с ним и, уходя, я поручил его на эту ночь попечению его хозяев. На следующее утро весьма рано опять явился его хозяин и попросил меня от имени Глинки сейчас же к нему прийти, так как он нехорошо себя чувствует. Пока я поспешно одевался, я отправил хозяина за доктором и когда пришел к Глинке, то уже застал его у постели, на которой лежал Глинка, крайне истощенный бессонной ночью, в продолжение которой его непрерывно рвало. Несколько порошков привели его в более спокойное состояние; старый опытный доктор полагал, что ночное состояние произошло от особого страдания печени. Я оставил его только тогда, когда пришли сиделки; они уложили Глинку в постель, с которой он, к сожалению, уже более не встал. Скоро посетил его врач и выразил надежду, что больной скоро поправится, и что нет никаких признаков опасности. Между тем рвота не прекращалась и телесная слабость увеличилась; духом же он был бодр и весел, так что, уснувши несколько, он говорил со мною о своих работах и опять дурачился (*machte farceur*.) Такое состояние продолжалось без перемены до 13-го (1) февраля. В этот день я пробыл у него до ночи. Глинка шутил и говорил о своих фугах. 14-го (2) утром я нашел его очень утомленным, и, к сожалению, совершенно безучастным ко всему, о чем я с ним ни заговаривал. Доктор, который навещал его ежедневно по несколько раз, объявил, что болезнь внезапно приняла другое направление, что жизнь больного в опасности, но что при своем необыкновенно сильном телосложении больной умрет не вдруг. Он прописал еще лекарство, которое Глинка принял охотно, между тем как в течение нескольких дней он не брал ничего, кроме небольшого количества шампанского, то с водой, то без воды. Своему достойному доктору наговорил он самых неприятных вещей, которые тот выслушал молча, не прерывая ни своих наблюдений, ни попечений о больном. 15-го (3) утром, около шести часов, хозяин Глинки поднял меня с постели известием, что наш друг около часу тому назад умер внезапно, но совершенно спокойно. Я тотчас же поспешил к умершему, сделал необходимые распоряжения; послал депешу в Веймар за тамошним русским священником (здесь уехал); представил подлежащим властям данное доктором свидетельство о смерти; написал вам несколько строчек и затем устроил все, что нужно для погребения. 17-го (5) тело было, с соблюдением всех законных формальностей, в присутствии врача анатомировано. Глинка часто и настойчиво этого требовал, поставил мне это в обязанность и взял с меня в этом обещание. Диссекция указала, что Глинка умер вследствие чрезмерного развития, так называемого ожирения печени и что при этих условиях он, ни в каком случае, не мог долго жить. Вот сведения о последних неделях жизни Глинки. Его разговор был ясен до последней минуты; любимейшей его мечтой было уехать осенью в Италию и там провести зиму в окрестностях Комо; он говорил об этом даже накануне своей смерти. За несколько часов до смерти, так около

18-го (6) февраля было погребение, при котором присутствовали Мейербер, один чиновник русского посольства, Бульшталь, Кашперов, скрипач Грюнвальд, который играл ему гайдновские квартеты, концертный дирижер Беер, хозяйка и я; две русские дамы, которых я не знал, были жены священников, здешнего и веймарского.

Сообразно с вашим желанием, я поставил временно простой памятник на его могиле из силезского мрамора, с такою надписью: «Michael von Glinka. Kaiserlicher russischer Kapellmeister. Geb. 20 Mai 1804 zu Spasskoe. Gouv. Smolensk. Gest. 15 Februar 1857 zu Berlin»...

Любопытную черту в жизни Глинки составляло нерасположение к новым русским жившим за границею политическим писателям, которые писали против России. Если заходила речь об них, то он раздражался до ярости, так что я не раз опасался удара. Вечером, когда это случалось, трудно было его успокоить. Чтобы избежать подобных случаев, я не допускал никаких политических разговоров и напоминал посетителям, что зонтики, калоши и политику они должны оставлять за дверями. Эта шутка удавалась, и Глинка тотчас же успокаивался. Если же он сам начинал разговор о политике, то обыкновенно с ним соглашались и не противоречили ни в чем. В начале зимы часто случалось, что он по 8—12 дней не выходил из комнаты; тогда я устраивал ему квартеты; брал с собой жену и свояченицу, и Глинка был в таких случаях любезен донельзя. Нередко случалось, что мы должны были повторить сполна какой-нибудь неизвестный ему квартет; желая доставить ему удовольствие, мы охотно это исполняли, а он каждый раз благодарил нас со слезами на глазах».

В это время уезжал за границу В. П. Энгельгардт; он взялся напечатать там несколько партитур его увертюры, которые и посвящены мною Мейерберу, Листу, Берлиозу и Дену; от себя же Энгельгардт распорядился переводом текста 20-ти лучших романсов брата на французский, немецкий и итальянский языки; он напечатал и посвятил их известной певице Полине Виардо. Энгельгардт присутствовал в Берлине при открытии тела брата, и когда начали вырывать гроб, он распался; Энгельгардт прислал мне в письме несколько цветов, бывших в гробу моего брата.

Из статьи В. В. Стасова известно, что в придворной Конюшенной церкви, с соизволения государя императора, была совершена панихида с придворными певчими, при которой В. П. Полисадов, бывший долго в Берлине при русском посольстве и бывавший там у брата, который любил его и дорожил его беседами, но случайно в это время приехавший в Петербург, сказал небольшую, но полную чувства речь о брате. Потом в Филармоническом обществе дан был концерт, составленный из сочинений брата; концерт вышел очень удачен. В это же время я просила Дена прислать мне вещи, бывшие самыми близкими брату: образок, портрет Оли, фамильный перстень и, между прочим, шлафрок, который брат очень любил и в котором умер. Черта любопытная: Ден, присылая все те вещи, о которых я просила, не прислал шлафрока. «Не посылаю халата потому», писал г. Ден с сообразительностью вполне немецкою, «что халат слишком стар и вы из него никакого употребления не можете сделать».

21 мая, утром, я, на пароходе, в сопровождении близких брату людей, отправилась в Кронштадт, а 22 только пришел «Владимир»; и мы возвратились в Петербург с телом брата и должны были оставить тело

шие ему, наперерыв просились быть при нем. В этот же день вечером, без всяких парадов тело брата было перевезено в Невский монастырь, в церковь Лазаря¹³. Там сняли ящики, и оказался темнодикий или черный и высокий деревянный гроб без всяких украшений. Желал ли так брат, или это обыкновение в Берлине, но только форма его была высокая, высокая, да и цвет его усиливал еще более тяжелое ощущение.

На завтра рано утром я распорядилась обить гроб золотым глазом, а в вечерню многие из близких брата перенесли его в Духовскую церковь, где 24 мая, после литургии, и было отпевание. Брат и в церкви, как и на пристани, не оставался один ни на минуту.

24 мая я раньше назначенного часа поехала в Невский, чтобы заранее убрать гроб и могилу брата цветами. Не успела я начать свое дело, как в церковь вошел Осип Афанасьевич Петров, и мы вместе с ним навешивали гирлянды, и мне было отраднo, что это именно Осип Аф., зная, как брат любил и уважал его.

В заключение скажу несколько слов об изданиях сочинений брата, которые переходили из рук в руки. В самом начале брат продавал свои произведения Смирдину¹⁴, потом г. Гурскалину, собственнику музыкального магазина «Одеон», от которого они перешли к г. Стелловскому, впрочем не все; есть романсы, проданные г. Бернарду и другим.

Цель моя после смерти брата состояла всегда в том, чтобы стараться распространить музыку брата. Для этого сделала я условие с г. Стелловским, по которому я передала ему все непроданные прежде братом и мною сочинения за 25 руб. Цифра эта была назначена потому, что иначе я не могла сделать формального акта без оценки: всякий, кто хотя немного знает дело, поймет это. Вслед за этими 25 руб. в условии было сказано, что я обязана дать г. Стелловскому 1 000 р., по представлении мне в назначенное время корректур, чтобы основательно исправить их и не допустить в печать искажений или пропусков. Давала же я г. Стелловскому 1 000 р. потому, что очень хорошо знала, что печатанье партитур опер брата ему не могло принести большой выгоды, так как немногие покупают подобные вещи. Видя, что пришел срок условия, а г. Стелловский не исполняет его, я хотела ускорить это дело, но он, согласившись сначала поручить М. А. Балакиреву печатать оперы за границею, на весьма выгодных, мною ему предложенных условиях, вдруг неожиданно вместо того начал со мною процесс, который кончился не в пользу г. Стелловского. Жаль, что из-за всех этих дрызг страдает музыка брата. Но партитура «Руслана» должна быть напечатана, и будет. Это лучшая и любимая опера брата.

Вскоре после смерти брата над его могилою был поставлен памятник, по рисунку академика И. И. Горностаева, монументным мастером Деннеисом. Медальон с портретом брата в профиль, помещенный на монументе, сделан с силуэта, снятого с брата в 1842 г. с тени на бумагу¹⁵. Этот медальон исполнен молодым талантливым скульптором Лаверецким и пройден, по просьбе В. В. Стасова (распорядившегося устройством памятника), скульптором Пименовым (учителем Лаверецкого). Памятник вышел художественный по мысли и исполнению. Памятник, поставленный по моей просьбе в Берлине над могилою брата и по моему же желанию оставленный на его бывшей могиле, был также совершенно сохранен в проезд мой через Берлин в 1862 г. Вот все, что я имела передать о брате.

В ответ на письмо ваше, от 9 февраля, скажу вам грустное да. Глинки не стало. Он скончался в Берлине 3 февраля, после непродолжительной болезни, вследствие простуды. Не передаю вам пустых толков о причинах, ускоривших смерть его, потому что всякую болтовню люблю пропускать мимо ушей; но расскажу вам то, что может быть несколько утешительным в подобном случае. Хотя в большом свете смерть Глинки не возбудила сильного сочувствия, но газетная слава его возрастает и гремит ежедневно. Придворные певчие, по ходатайству А. Ф. Львова, пели по нем панихиду, и Конюшенная церковь не могла вместить всей массы людей, приехавших и пришедших отдать последний долг нашему замечательному композитору. Сочувствие публики к высокому его таланту должно еще более выразиться в концерте, который дает филармоническое общество в память его. Концерт будет составлен исключительно из его творений. Прилагаю вам афишу этого концерта. Все мы сожалеем, что вас здесь нет. Вы, конечно, не отказались бы принять в нем участие. Желаю от души, чтобы публика оправдала славу Глинки, проповедываемую в газетах. Без печали народа, газетный шум пуст и омерзителен, как всякая продажность...

*

Артистическое положение мое в Петербурге незавидно. Большинство наших любителей музыки и газетных писак не признает во мне вдохновения. Рутинный взгляд их ищет лстивых для слуха мелодий, за которыми я не гонюсь. Я не намерен снизводить для них музыку до забавы. Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды. Они этого понять не умеют. Отношения мои к здешним знатокам и бездарным композиторам еще более грустны, потому что двусмысленны. Уловка этих господ известна: безусловно превозносить произведения умерших, чтобы не отдавать справедливости современным. Это ведется с давних времен. При этом, неуважение ко мне дирекции дает им сильные против меня оружия. Сколько выслушиваю я нелестных намеков, но привык и холоден к ним. Судите же после этого, как утешительно для меня сочувствие хотя и немногих, но таких талантливых и милых людей, как вы, в душе которых есть отголосок всему хорошему. Вы понимали и любили Глинку. Понимаете и любите меня. Поняли и любили сочинения Моношки. Помните, какой приятный вечер провели мы в исполнении его чудных кантат и мелодий? Как он остался поражен вашею способностью читать ноты и быстро вникать в намерения автора? Помните ли вечера у Глинки? Как мы заставили его плакать над дуэтом из «Русалки»?¹ Помните, с каким ревнивым чувством слушал он игранную нами увертюру, хоры? Надо сказать правду, характер был у него не всегда гладкий; но художественное чувство пересиливало его, и слово одобрения вырывалось невольно². Помните, как он через силу принимался писать для вас фугу и кончил распиской в альбоме? * Сколько усладительных, а отчасти и забавных часов проводили мы с ним. Об одном жалею, что он не был с нами на репетиции моей «Русалки». Талант и странности — почти всегда неразлучны.

* Расписка в альбоме вот такая: «Я, нижеподписавшийся, обещаю (с помощью всевышнего) написать Л. И. Беленицыной в этот альбом пьесу, достойную ее прекрасного таланта. Михаил Глинка, 24 апреля 1856 г., Петербург». — *Примечание Л. И. Кармалиной.*

Прочитав письма А. С. Даргомыжского, помещенные в «Русской старине» (том XIII, стр. 420—435) ¹, я был неприятно изумлен ошибочными отзывами о М. И. Глинке. Оставить эти ошибки невозможно, потому что они могут послужить материалами для общей характеристики великого композитора.

Я был в родственных и хороших отношениях с Глинкой и Даргомыжским; но с первым, от юношеских лет, связала нас искренняя дружба, продолжавшаяся до его кончины и скрепляемая, все больше и больше частыми сношениями и тем, что Глинка несколько раз у меня жил. Я имел, стало быть, возможность изучить, во всех изгибах, его нравственную сторону.

Везде, где писано было о Глинке, говорилось о его уме, образованности, мягкости характера. Люди, знавшие его ближе, любили его трогательную доброту, в соединении с какою-то детскою веселостью, и знавшие его коротко уважали в нем, сверх того, честность и прямоту: он, не стесняясь, высказывал свои мнения; это многим не нравилось, иные подзревали, что им руководит чувство зависти. Разве мог Глинка кому-нибудь завидовать? На основании полного знания его души, я имею право и даже обязанность исправлять ошибочные о нем мнения.

Даргомыжский не мог знать Глинку всецело; давно-знакомые, они были на приятельской, короткой ноге, но видались не часто, и искренней дружбы между ними не было. Их связывали музыкальные интересы, а не душевное сочувствие, и это специально-музыкальное приятельство и было причиной того, что кругозор Даргомыжского относительно Глинки был слишком узок.

Характеристика человека зависит от того стекла, сквозь которое смотрит наблюдающий.

Разберу последовательно то, что меня более всего поразило в письмах Даргомыжского.

Припоминая об этом вечере у Глинки, Даргомыжский говорит: «помните ли, как мы заставляли его (Глинку) плакать над дуэтом из «Русалки?... Далее: «художественное чувство пересиливало его, и слово одобрения вырывалось невольно...»

Даргомыжский положительно ошибается: Глинка никогда не скупился на похвалы хорошего; он восхищался некоторыми номерами итальянских композиторов, которых не любил положительно, и даже Беллини, которого называл «сладчайшим»; он находил хорошее у Виельгорского, у Алябьева, он отдавал справедливость Толстому, а о Даргомыжском и говорить нечего: он постоянно отзывался о нем, как о сильном таланте. Помню, раз говорили о мелких его сочинениях и, между прочим, речь коснулась песни «Каюсь, дядя»; Глинка сказал тогда, что если бы Даргомыжский решился написать оперу-buffa *, то разом стал бы выше всех композиторов, писавших в этом роде. Надо при этом обратить внимание на то, что в своих «Записках» Глинка нигде, ни одним словом не отзывался неприязненно или укорительно о Даргомыжском. Правда, что Глинка иногда указывал Даргомыжскому на неправильности, которые ему казались в его сочинениях; может быть, Даргомыжский заключал из этого, что они вообще ему не по душе. А между тем, я сам слышал, как Глинка смиренно сознавал, что Даргомыжский, музыкально, учение его.

* оперу-буфф, т. е. комическую оперу (итал.)

лишь. Журналы вносили в свои столбцы мнение публики, и виновата одна публика.

На страницах 430 и 431 надо особенно остановиться. Вот что там сказано: «...и одна пагубная страсть прошпиговала страдальческой бичевой всю жизнь его: это любовь к славе и овациям...»². Когда Глинка начал писать, он не помышлял о славе; писал потому, что писалось; потому, что его гений требовал своего проявления. Слава пришла сама собою. А кто, украшенный этим ореолом, не возлюбит ее? Да, Глинка любил свою славу, дорожил ею и потому со строгим разбором выпускал в свет свои произведения, часто предварительно советуясь с знатоками музыки; мелкое самолюбие исчезло перед любовью к чистой славе. Относительно же оваций, ни я, и, конечно, никто из знавших коротко Глинку, никогда не подозревали, чтоб они были его страстью. Утвердительно скажу, и все еще немногие живые, знавшие Глинку, закрепят мое слово, что Глинка никогда не искал их. Но как Даргомыжскому нравились слезы Глинки при исполнении дуэта из «Русалки», точно так же и на Глинку приятно действовал восторг слушающих его великолепную музыку.

Вслед за выписанными выше словами говорится: «все, что было им сделано глупого и предосудительного в жизни, все было следствием этой слабости...» Это уже слишком! Нам известно, что единственная глупость, которую сделал Глинка и за которую сильно поплатился,— это его женитьба. А затем? Я довольно долго перебирал в своей памяти все фазисы его жизни: ничего не нашел неразумного. Иные называли глупостью то, что он, после развода с женою, оставил службу в певческой капелле, что увлекся фантастической любовью без последствий³, что слишком бескорыстно относился к своим интересам по постановке опер и по изданию сочинений. Если это и глупости, то в них слава и овации не при чем. И, без сомнения, Даргомыжский не эти обстоятельства назвал бы глупостями! В чем же он видит глупое? про то он один знает.

А предосудительное!? с крайнею горечью выписываю это слово. Что же такого сделал Глинка, за что следовало бы осудить его? Это такое обвинение, в котором оправдывать Глинку предосудительно.

Но, читая страницу далее, можно догадываться, что Даргомыжский понимал под этим веским словом. Он говорит: «В Париже я был свидетелем, как он ухаживал за Берлиозом, чтоб тот исполнил некоторые номера его опер в концерте..» Я не вижу, чтоб было предосудительно для композитора желание познакомить со своими произведениями публику чужой национальности. Берлиоз и сам приезжал в Петербург для того, чтоб петербуржцы слышали его сочинения. И из русских многие, в том числе Даргомыжский, добивались того же. Всякий композитор, особенно русский, следовательно, вовсе не знакомый Европе, желая сделаться известным в музыкальных городах: Париже, Вене, Брюсселе, должен сперва представить свои сочинения корифеям искусства и потом просить или у х а ж и в а т ь, чтоб их поставили; кажется,— ясно. Далее: «однажды Глинка при мне хлопотал, чтоб его представили какому-то графу Строганову (отставному министру)».

Я не был на этом вечере у князя Вяземского и не знаю, верен ли весь рассказ по этому случаю. Знаю только, что этот к а к о й - т о граф Строганов был человек известный своим умом и образованностью. Уже ли предосудительно искать знакомства с личностью, одаренною таким

живающим за аристократами. Тут ясное противоречие, одно что-нибудь неверно; а я полагаю, что все неверно: последнее объясняется тем, что я уже сказал, а первое опровергается тем, что скажу: никогда Глинка не заявлял ненависти или презрения к публике и аристократии⁴; но говорил, что публика еще не на столько образована музыкально, чтоб понять «Руслана». Время доказало справедливость этих слов: в настоящее время «Руслан» ставится выше «Жизни за царя». Если бы Глинка ненавидел аристократию, то он не посещал бы охотно дома гр. Виельгорского, кн. Вяземского, кн. Одоевского и др., где в то время находили себе приют поэзия и искусство. Вообще Глинка охотно знакомился с людьми, которых умственные и нравственные качества ему нравились; он не принимал в соображение: титулованы они, или вовсе не имеют дворянского диплома.

(Стр. 430 и 431). Даргомыжский укоряет Глинку в том, что писал сочинения на разные празднества и что это единственные его плохие сочинения. Положим, они плохи; но мог ли Глинка отказать настоящим просьбам тех, которые желали украсить свой праздник его именем? Да и что же тут дурного? разве его слава, его доброе имя, его безукоризненная честность пострадали от этого?

А что Глинка намеревался посвятить «Руслана» Гедеонову⁵, то и в этом нет ничего предосудительного, потому что он был в отличных отношениях с этим, превосходно образованным, тогда еще молодым человеком.

Наконец, Даргомыжский говорит, что в последние годы своей жизни Глинка разошелся с прежними своими товарищами. Против этого в выноске сказано, что эти слова не совсем справедливы; а я утверждаю, что они совсем неверны: Глинка со всеми нами, его друзьями, остался одинаковым до своей смерти.

В. Н. КАШПЕРОВ

ВОСПОМИНАНИЕ о М. П. ГЛИНКЕ

М. Г. Благодарю Вас за внимательность, которою Вам угодно было почтить меня: — корректурные листы с письмами дорогого Михаила Ивановича Глинки я получил. В этих письмах он обрисовывается несравненно ярче и полнее, чем в каких-либо биографических очерках. Лишь одна сторона его жизни вовсе не выяснена, и мне кажется, что никто еще не взялся разъяснить то, что составляло существенную причину его постоянных и глубоких страданий, сначала нравственных, — а потом и физических, конечно.

Он часто говаривал у нас в доме, — когда мы жили в Берлине — в 1856 году: — «J'ai toujours été maltraité moralement»*.

Многие возразят: да ведь он был чрезвычайно впечатлителен как художник, а под конец раздражителен до болезни — и на таком объяснении успокоятся. Мне самому случалось слышать такого рода суждения и даже от коротких его приятелей. Но мне кажется, что болезнен-

* Со мною всегда жестоко обращались в смысле нравственном (франц.)